

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ВЯЗЬ

исторический триллер

Книга 20

Итальянская петля



Мурат Карадениз

Мурат Карадениз
Итальянская петля

«Автор»

2026

Карадениз М.

Итальянская петля / М. Карадениз — «Автор», 2026

1943 год, блокадный Ленинград. Сотрудник НКВД Алексей Ухтомский находит в подвале старого особняка эскиз Караваджо, считавшийся утерянным. Но это лишь копия. Оригинал исчез, а след ведёт в прошлое — туда, где поэты и художники XIX века плели сеть из правды и лжи. Зачем они прятали этот эскиз? И кто готов убивать, чтобы он не всплыл? Хранитель музея профессор Серебряков лежит в госпитале без памяти. Единственное слово, которое он повторяет, — «кадмий». Его отравили, и тайна, которую он хранил десятилетиями, может умереть вместе с ним. Кто успел добраться до него раньше, чем Ухтомский? Спустя десятилетия внучка Ухтомского находит архив деда. Фотографии, шифры, обрывки писем. Кто-то ещё знает об этой находке. Кто-то готов уничтожить всех на своём пути. Счёт идёт на часы. Что связывает эскиз Караваджо, блокадный Ленинград и безмолвного профессора, потерявшего память? И успеет ли Анна раскрыть правду, пока её саму не стёрли из этой истории?

© Карадениз М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ДИСКЛЕЙМЕР	5
ПРОЛОГ. «Кадмий жёлтый»	6
ЧАСТЬ I. «ГОРЬКИЙ МИНДАЛЬ»	10
ГЛАВА 1. «Живой мертвец»	10
ГЛАВА 2. «Архивная пыль»	14
ГЛАВА 3. «Брюллов и Жуковский»	18
ГЛАВА 4. «Дом на Зелениной»	22
ГЛАВА 5. «П	25
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Мурат Карадениз

Итальянская петля

ДИСКЛЕЙМЕР

«Все персонажи и события являются вымышленными. Любые совпадения с реальными людьми, организациями и событиями случайны. Упоминания реальных организаций используются в художественном контексте и не отражают их реальную деятельность».

ПРОЛОГ. «Кадмий жёлтый»

Время: 16 июня 1943 года, 05:30

Место: Ленинград, Академия художеств, зал Рафаэля

Блокада | Алексей Ухтомский

Взрывная волна ударила в грудь ещё до того, как Алексей Ухтомский успел открыть дверцу машины. Он вывалился на мостовую, ударился коленом о булыжник, но боли не почувствовал — только гул в ушах, такой плотный, что казалось, будто его голову засунули в медный котёл и бьют по ободу молотом. Он лежал на спине, глядя в розовое небо, и не мог пошевелиться несколько секунд. Потом он перевернулся на бок, опёрся на руку и встал, ощущая, как дрожат колени.

Небо над Академией художеств было розовым. Не от рассвета — от огня. Оно полыхало, переливаясь от багрового к оранжевому, и этот свет падал на здание, делая его похожим на театральную декорацию, нарисованную неумелым художником. Алексей смотрел на Академию, которую знал с детства, в которой провёл лучшие годы своей жизни, и не узнавал её. Второй этаж, левое крыло — зал Рафаэля — зиял чёрной рваной раной, из которой, как кровь из раны, сочилось пламя. Из неё валил дым, густой, жирный, с примесью чего-то сладковатого и одновременно едкого. Горел лак. Горело дерево подрамников. Горела Италия — та самая, которую он никогда не видел, но которую любил всем существом, потому что она жила на этих стенах, на этих холстах, в этих красках, которые он изучал двадцать лет.

Он поднялся, отряхнул шинель, хотя она была покрыта пылью и копотью. Не имело смысла — через минуту он снова будет грязным, снова будет в дыму, снова будет среди этого ада.

— Товарищ Ухтомский! — к нему бежал адъютант, молодой лейтенант с осунувшимся лицом, с повязкой на рукаве, которая была чёрной от сажи. Он тяжело дышал, и на лбу у него выступил пот, смешанный с копотью. — Мы эвакуировали, что могли. Но зал Рафаэля...

— Я вижу, — сказал Алексей. Голос прозвучал глухо, будто шёл из-под воды, и он прочистил горло, чтобы сказать громче: — Кто там был? Кто тушил?

— Все, кого смогли собрать. Студенты, сторожа, сотрудники отдела пропаганды. Мы пытались спасти копии, но... — адъютант развёл руками. — Дым был слишком сильным. Мы вынесли, что могли, но большая часть...

— Я знаю, — перебил Алексей. Он переступил через обломок карниза, лежащий на ступеньках, и пошёл к парадному входу. — Где Серебряков?

— Я не знаю. Мы не видели его со вчерашнего дня. Он должен был быть в Академии, но когда начался налёт...

Алексей не дослушал. Он ускорил шаг.

Воздух внутри был горячим и горьким. Пахло гарью, мокрым песком и чем-то кислым — расплавленным стеклом, которое остывало на полу, превращаясь в неправильные ледяные капли. Стены были покрыты копотью, и на них, как на старых картах, проступали пятна — тёмные, маслянистые, будто само здание плакало. Люди в шинелях и гражданских пальто бегали с вёдрами, передавали их по цепочке, и вода разливалась по полу, смешиваясь с пеплом и грязью. Кто-то кашлял надрывно, кто-то матерился сквозь слёзы, кто-то просто стоял и смотрел, не в силах ничего сделать.

Алексей прошёл мимо них. Он знал, куда идёт.

Кабинет Серебрякова находился в северном крыле, там, где огонь ещё не добрался, но дым был уже везде — он стелился по полу, заполнял коридоры, просачивался в каждую щель,

в каждую трещину, в каждую дверную ручку. Алексей толкнул дверь плечом — она не была заперта, но петли заклинило от жара, и он протаранил её, чуть не упав внутрь.

Внутри царил хаос.

Стол был опрокинут — старый дубовый стол, за которым Серебряков сидел каждый день на протяжении двадцати лет, теперь лежал на боку, и его ящики были выдвинуты, пустые, вывернутые наизнанку. Бумаги валялись по всему полу, перемешанные с осколками разбитой чернильницы — синие кляксы расплзлись по жёлтым листам, делая их похожими на карты неизвестных материков. Шкаф с папками стоял открытым, половина содержимого исчезла, словно кто-то торопился, хватал всё подряд, не разбирая. На стене, там, где висел портрет профессора Серебрякова, остался только гвоздь и тёмный прямоугольник несторевающей краски — призрак картины, которая была здесь ещё вчера.

Алексей остановился посреди комнаты. Он не знал, что именно ищет. Но что-то здесь было не так. Что-то не складывалось в картину обычного грабежа или обычного пожара.

Он опустил взгляд. Под ногой хрустнуло стекло.

Он отступил на шаг. На полу, среди прочего мусора, лежал осколок — крупный, сантиметров пятнадцать в длину, с неровным краем, как будто его отбили от большой рамы. Стекло было толстым, тяжёлым, с налётом времени — старым, из того стекла, которое уже не делают. Но не это привлекло его внимание.

На внутренней стороне осколка, там, где стекло было матовым от старого налёта, кто-то выцарапал два слова. Буквы были глубокими, ровными, но торопливыми, будто их выводили дрожащей рукой, в темноте, наощупь.

Алексей поднял осколок, повернул его к свету. Света было мало — только отсветы пожара из окна, — но он разглядел. Он прочитал вслух, шёпотом, чувствуя, как внутри него затягивается тугий узел.

— Кадмий жёлтый.

Он замер.

Кадмий жёлтый. Пигмент. Краска, которой писали итальянские мастера — насыщенный, солнечный, стойкий, почти не выцветающий со временем. Брюллов любил его. Серебряков тоже. Но здесь, в этом кабинете, в этом хаосе, эта надпись была не о красках. Она была о чём-то другом. О том, что Серебряков хотел сказать перед тем, как исчезнуть.

Алексей сунул осколок в карман шинели, чувствуя, как острые края впиваются в ткань. Он обвёл комнату взглядом. Опрокинутый стул. Раскрытый сейф в углу — пустой, с выломанным замком. И дверца шкафа, которая была приоткрыта чуть шире, чем должна быть.

Он подошёл к шкафу. Пригляделся. На полу, у ножки шкафа, тянулась тонкая царапина. Свежая — дерево было светлым, ещё не успевшим потемнеть от времени. Она шла от шкафа к стене, будто кто-то отодвигал тяжёлую мебель, не заботясь о том, чтобы её не повредить.

Алексей упёрся плечом в край шкафа и толкнул. Шкаф не сразу поддался — внутри что-то грохнуло, наверное, упала очередная стопка бумаг, — но он сдвинул его. Дюйм. Второй. Третий. За шкафом открылась стена.

На ней была дверь. Маленькая, едва заметная — в половину человеческого роста, замаскированная под панель, но петли выдавали её. Алексей потянул за ручку, сделанную из почерневшей бронзы. Дверь открылась с сухим скрежетом, будто её не открывали десятилетиями.

Внутри было темно. Он сунул руку в карман, нашарил спички, чиркнул. Огонёк выхватил из темноты небольшое пространство — ниша, выдолбленная в стене. Пустая. Только на дне лежал цветок. Сухой, коричневый, почти рассыпавшийся в труху. Полынь. Засохшая полынь, положенная на камень, будто чья-то рука оставила её как знак. Как закладку. Как сообщение для того, кто найдёт это место.

Алексей выпрямился, сжал спичку в пальцах, пока она не обожгла их. Он стряхнул пепел и посмотрел на пустую нишу. Что-то было здесь. Что-то важное. Но это что-то исчезло.

— Что здесь было? — спросил он у пустоты.

Ответа не было.

Он вышел из кабинета. В коридоре его перехватил лейтенант-адъютант — тот же, что встречал у входа. Лейтенант тяжело дышал, на щеке у него была копоть, смешанная с потом, и он постоянно вытирал лицо рукавом, но это только размазывало грязь.

— Товарищ Ухтомский, — выдохнул он, — в подвале... наши нашли кое-что.

Алексей посмотрел на него.

— Что?

— Не знаю точно. Я не понял. Это какая-то картина. Или не картина... картон. Они говорят — Корреджо.

Сердце Алексея пропустило удар. Он ничего не сказал, просто пошёл за лейтенантом, чувствуя, как в груди разрастается холодное, тяжёлое предчувствие.

В подвале было сыро и холодно, хотя снаружи стоял июнь. Вода сочилась по стенам, пахло известкой и сырým камнем — тем особенным запахом, который бывает только в старых подвалах, где не было света и тепла много лет. В дальнем углу, за старыми мольбертами, стояла группа людей — четверо, с фонарями, в мокрых шинелях. Они расступились, когда Алексей подошёл.

На каменном столе лежал картон. Увесистый, в деревянной раме, почерневшей от времени, с тёмными пятнами на краях. Алексей подошёл ближе.

Он знал эту работу. Он видел её много лет назад, в музее, до войны, когда Серебряков показывал ему запасники и рассказывал о каждом экспонате. «Обручение святой Екатерины» Корреджо. Оригинал. Или то, что выдавало себя за оригинал.

Алексей провёл пальцем по краю, чувствуя шероховатость старого дерева. Он вспомнил, как впервые увидел этот картон — тогда, в запасниках музея, профессор Серебряков объяснял ему, что такое картон в искусствоведческом смысле. Это не просто плотная бумага. Это полноразмерный подготовительный рисунок к фреске, картине или гобелену. Художник выполнял его в натуральную величину, чтобы перенести композицию на стену или холст, работая уже по готовому, выверенному образцу. Но картон — это не эскиз, не набросок, не черновик. Это законченное произведение, которое само по себе могло считаться шедевром. Картон Корреджо был именно таким — подготовкой к фреске, которую мастер так и не написал, потому что умер в нищете, оставив после себя лишь горстку работ. Но сам картон пережил мастера почти на четыреста лет. Он пережил войны, пожары, революции. И вот теперь лежал перед Алексеем.

Но что-то в нём было не так.

Он наклонился, присмотрелся к краске. Оттенок. Тон. Жёлтый в одежде святой Екатерины был слишком ярким, слишком уверенным, слишком... новым. Не тем приглушённым, тёплым тоном, который использовали итальянские мастера XVI века. А тем, который появился только в XIX веке.

Кадмий жёлтый.

— Это копия, — сказал Алексей тихо. — Кто-то сделал копию. Идеальную. И подменил оригинал.

Люди за его спиной переглянулись. Один из них, боец отряда МПВО, сдвинул фуражку и спросил:

— Но как, товарищ Ухтомский? Мы проверили всё. Эта комната была заперта. Её не открывали с начала войны.

Алексей поднял взгляд. Он посмотрел на стену, туда, куда указывал боец.

На стене, прямо над столом, где лежал картон, было написано углём. Слова были крупными, уверенными, будто их выводил человек, который знал, что их прочтут. Человек, который оставил это сообщение не для случайных зевак, а для того, кто будет искать.

«Ищи у Брюллова»

Алексей стоял, глядя на надпись, чувствуя, как внутри него затягивается узел. Цепь. Это была цепь. Он не знал, кто и когда её начал, но он понимал, что стал её звеном. Что-то тянулось из глубины XIX века, через революции, через войны, через смерть и забвение. И теперь оно пришло к нему.

Он вышел из подвала, поднялся по лестнице, прошёл через главный вестибюль и вышел на улицу. Воздух снаружи был свежим, но всё ещё пах гарью — этот запах вьелся в его одежду, в его волосы, в его лёгкие. Он сделал глубокий вдох, чтобы прочистить их, и почувствовал, как холодный ветер касается лица.

Из машины выскочил адъютант. У него было странное лицо — бледное, растерянное, будто он увидел что-то, чего не должен был видеть.

— Товарищ Ухтомский, — сказал он, — только что сообщили. Профессор Серебряков найден.

Алексей повернулся к нему.

— Где?

— У Тучкова моста. Он был в сознании, но бредил. Мы отправили его в госпиталь.

— Жив?

— Жив. Но...

Адъютант запнулся. Он опустил глаза, будто не хотел говорить дальше.

— Что «но»? — спросил Алексей. Голос его был ровным, но внутри всё сжалось, и он чувствовал, как сердце начинает биться быстрее.

— Он ничего не помнит, товарищ Ухтомский. Вообще ничего. Врачи говорят — контузия. Амнезия. Он не узнаёт даже своё имя. Он смотрит на людей и не понимает, кто они. Он говорит на каком-то странном языке — то ли итальянском, то ли ещё на чём-то. И он повторяет одно слово. Кадмий.

Алексей замер. В ушах снова загудело — не от взрыва, от тишины, которая вдруг образовалась вокруг. Он повернулся к адъютанту, и в его взгляде было то, чего лейтенант не видел никогда — холодная, стальная решимость, которая не оставляла места для сомнений.

— Что значит — ничего не помнит? — спросил Алексей. — Где он? Ведите меня к нему.

ЧАСТЬ I. «ГОРЬКИЙ МИНДАЛЬ»

ГЛАВА 1. «Живой мертвец»

Время: 16 июня 1943 года, 09:00

Место: Ленинград, военный госпиталь

Блокада | Алексей Ухтомский

Госпиталь размещался в бывшей женской гимназии на набережной Карповки. Алексей помнил это здание с детства — мать водила его сюда на ёлки, когда он был маленьким. Тогда здесь пахло мандаринами и хвоей, а под высокими потолками висели бумажные гирлянды. Теперь потолки почернели от копоти, гирлянды никто не вешал, а запах мандаринов вытеснила невыносимая, въедливая смесь йодоформа, гноя и сырых тряпок. Война сделала все здания одинаковыми: больницами, казармами, моргами.

Он поднялся на второй этаж по широкой лестнице, где когда-то бегали девочки в форменных платьях. Теперь по ней тащили носилки, и ступеньки были испачканы кровью и грязью. Каждые несколько шагов он наступал на что-то мягкое — то ли бинты, то ли куски ваты, то ли просто грязь, нанесённую тысячами ног.

Конвоир у дверей палаты особого режима — старшина с опухшим лицом и пустыми глазами — посмотрел на удостоверение и молча пропустил его. Он не спросил имени, не проверил подпись. Ему было всё равно.

Палата была маленькой, на две койки. Вторая стояла пустой — серый матрас, прохудившийся в нескольких местах, с тёмными пятнами на нём. На первой лежал Глеб Яковлевич Серебряков.

Алексей остановился в дверях и просто стоял, глядя на него.

Он помнил Серебрякова совсем другим. До войны профессор был худощавым, поджарым, с острыми скулами и руками, которые никогда не лежали спокойно — вечно что-то перебирали, вертели, рассматривали. Серебряков любил носить с собой старую бронзовую лупу, которую купил ещё в молодости в Италии, и никогда не расставался с ней. Он рассматривал бумаги, как биолог рассматривает насекомых — с восхищением и беспощадной внимательностью. Он знал каждый тайник Академии, каждую щель в подвале, каждую доску в полу, которая скрипела не так, как остальные.

Теперь на койке лежал чужой человек.

Серебряков был стар — гораздо старше, чем казался раньше. Годы блокады съели его. Кожа обтянула череп, щёки ввалились, на скулах проступили жёлтые пятна — следы хронического недоедания. Волосы, некогда густые и тёмные с проседью, теперь торчали редкими седыми космами. Глаза были открыты, но в них не было ничего.

Абсолютно ничего.

Алексей подошёл ближе. Глаза Серебрякова смотрели прямо в потолок, но не фокусировались на нём. Зрачки были расширены неестественно — почти на всю радужку, и от этого взгляд казался чёрным, бездонным, как вода в Неве зимой.

— Профессор Серебряков? — тихо позвал Алексей.

Никакой реакции. Даже дыхание не изменилось — ровное, поверхностное, почти незаметное.

— Глеб Яковлевич, это я, Алексей. Алексей Ухтомский. Вы меня помните?

В ответ — тишина. Только шелест где-то в коридоре, хриплый кашель из соседней палаты, звон металла о металл.

Алексей провёл рукой перед лицом Серебрякова. Глаза не моргнули, не дрогнули. Он взял ладонь профессора в свою — она была холодной, сухой, безжизненной, хотя пульс прощупывался ровно и сильно.

Дверь открылась, и в палату вошёл врач. Мужчина лет сорока, в мятом, когда-то белом халате, с красными от недосыпа глазами и глубокими морщинами вокруг губ. Он взглянул на форму Алексея, на погоны, на нашивку Смольного, и коротко кивнул.

— Вы к нему?

— Да. Что с ним?

Врач подошёл к койке, машинально взял запястье Серебрякова, посмотрел на часы, потом отпустил.

— Контузия, — сказал он без всякого выражения, будто повторял это в сотый раз за день. — Сильная. Мы нашли его утром, в пять часов. У Тучкова моста. Он лежал на набережной, в одном пиджаке. Вокруг никого. Пальто не было — наверное, потерял. Его привёз патруль. Он был в сознании, но бредил, говорил что-то несвязное. Сейчас он пришёл в себя — в том смысле, что глаза открыты, дыхание самостоятельное, сердце бьётся. Но сознания нет.

— Сознания нет?

— Память стёрта, — врач вздохнул и потёр переносицу. — Полностью. Он не знает, как его зовут. Не узнаёт себя в зеркале, если ему дать зеркало. Не понимает, где он и что происходит. Я назвал ему ваше имя — он не реагирует. Вообще никак. Ни на одно слово. Кроме одного.

Алексей напрягся.

— Кроме какого?

Врач посмотрел на него. В его взгляде мелькнуло что-то странное — не то испуг, не то удивление, не то просто усталость, которая смешалась с любопытством.

— «Кадмий», — сказал врач. — Он повторяет это слово. Иногда добавляет «жёлтый». Иногда говорит «книга». Он бредит, товарищ Ухтомский. Но эти слова у него звучат чётко. Не как другие.

Алексей сжал челюсти.

— Покажите мне его карту.

Врач пожал плечами и вышел из палаты. Вернулся через минуту с тонкой папкой в руках. Алексей взял её, пролистал. Ничего необычного — стандартные записи, температура, давление, частота пульса. Но в графе «Зрачковая реакция» было написано от руки: «расширены, реакция на свет отсутствует».

— Вы проверяли на отравление? — спросил Алексей.

— Стандартный анализ. Ничего подозрительного.

— А специфический? На алкалоиды? На атропин, на скополамин?

Врач нахмурился.

— У нас нет реактивов. Это война, товарищ Ухтомский.

Алексей ничего не сказал. Он достал из кармана шинели чистую пробирку — он всегда носил их с собой, привычка с гражданской жизни, когда он работал в лаборатории Академии, — и подошёл к койке.

— Я беру кровь, — сказал он. — Отправлю в лабораторию Смольного. Это не обсуждается.

Врач открыл было рот, чтобы возразить, но передумал. Он видел удостоверение. Он знал, что спорить бесполезно.

Алексей аккуратно взял кровь из вены Серебрякова. Игла вошла легко — кожа была тонкой, бледной, почти прозрачной. Профессор не дёрнулся. Ни мышца не дрогнула на его лице. Он даже не вздохнул.

— Он вообще чувствует боль? — спросил Алексей, не отрываясь от пробирки.

— Не знаю, — ответил врач. — Он не реагирует. Но рефлексy сохранены. Наверное, чувствует. Просто не подаёт вида.

Алексей запечатал пробирку и положил её во внутренний карман. Потом он повернулся к медсестре, которая стояла в углу палаты, прижав руки к груди. Она была молодой, бледной, с испуганными глазами, — наверное, недавно в госпитале.

— Вы принимали его? — спросил Алексей.

Она кивнула, не в силах говорить.

— Он что-то говорил, когда его привезли? Точно? Вспомните каждое слово.

Медсестра сглотнула. Она собиралась с мыслями.

— Когда его привезли, он был в бреду, — сказала она наконец. — Он повторял: «Кадмий... кадмий...» Это было первое, что я услышала. Потом он открыл глаза — всего на секунду — и сказал: «Они забрали картон. Я не успел». А потом он снова провалился. Когда он очнулся во второй раз, он уже не говорил ничего осмысленного. Только «книга» и «камень». Много раз. «Камень, камень, камень».

— «Камень»?

— Да. И ещё — что-то про итальянцев. Он сказал «итальянец» один раз. И затих.

Алексей посмотрел на Серебрякова. Тот по-прежнему лежал неподвижно, глядя в потолок, но теперь Алексей заметил: губы профессора чуть шевелились. Он подошёл ближе, наклонился, почти коснулся ухом губ.

Серебряков шептал что-то беззвучно. Алексей не мог разобрать слов — только движение губ, едва уловимое, как трепет крыльев бабочки.

— Что вы говорите? — прошептал Алексей.

Серебряков замер. На мгновение.

Потом его губы сжались. И он произнёс одно слово. Громко, чётко, так, что его услышали все в палате:

— Не ищи меня.

Он замолчал. Зрачки его, всё ещё расширенные, на мгновение будто сфокусировались — на Алексее. Или сквозь него. Или на чём-то, что было за его спиной.

А потом они снова стали пустыми, как у мёртвого.

— Он говорит редко, — сказал врач. — Но иногда вырывается. Мы не знаем, осмысленны ли эти слова.

— Они осмысленны, — ответил Алексей. — Поверьте мне. Они очень осмысленны.

Он выпрямился. Посмотрел на Серебрякова в последний раз. Профессор снова лежал неподвижно, и казалось, что он больше не дышит, хотя грудь его поднималась и опускалась с ровной, механической частотой. Живой мертвец — вот кем он стал. Или кто-то сделал его таким.

Алексей вышел в коридор. Свет здесь был тусклым — лампочка под потолком мигала и шипела, готовая погаснуть в любой момент. Он остановился, прислонился спиной к стене, достал из внутреннего кармана пробирку с кровью.

Он посмотрел на неё. Тёмная, густая жидкость плескалась на дне. В ней могли быть следы атропина, скополамина, белладонны — любого вещества, которое расширяет зрачки и стирает память. Вещества, которое могли дать ему те самые «они», о которых он говорил в бреду.

Кто были эти «они»? Немцы? Фон Бок? Или кто-то другой, кто хотел, чтобы Серебряков забыл то, что знал?

Алексей сжал пробирку в пальцах. Стекло было тёплым от его руки. Он подумал о том, что Серебряков был последним человеком, который знал все тайники Академии. Он знал, где лежит оригинал Корреджо. Он знал, кто сделал копию. Он знал, куда исчез картон.

И теперь он молчал. Навсегда.

Что, если он не просто забыл? — подумал Алексей. — Что, если кто-то помог ему забыть?

Он убрал пробирку в карман. Он пошёл по коридору к выходу. Шаги его гулко разносились по пустым стенам.

Ему нужно было в Смольный. В лабораторию. И к книге Жуковского, которая ждала его где-то там, в архивной пыли.

ГЛАВА 2. «Архивная пыль»

Время: 22 сентября, 10:00

Место: Санкт-Петербург, квартира Анны

Наши дни | Анна Ухтомская

Квартира на Петроградской стороне никогда не была уютной в обычном смысле этого слова. Анна Ухтомская привыкла к этому с детства — высокие потолки, скрипучие половицы, запах старого дерева и бумаги, который, казалось, вьелся в стены навсегда. Раньше здесь жил её дед, потом мать, а теперь она сама. И чем дольше она жила в этой квартире, тем больше понимала, что она никогда не станет её по-настоящему. Она была хранительницей, а не хозяйкой.

Четырнадцать коробок. Ровно столько она насчитала, когда впервые открыла кладовку после того, как получила ключи от квартиры. Четырнадцать картонных ящиков, перевязанных бечёвкой, с надписями на боку, сделанными рукой Алексея. Она перетащила их в гостиную, расставила вдоль стены и разбирала по одной уже три недели. Каждый день она находила что-то новое: письма, дневники, протоколы, квитанции, фотографии, рисунки. Архив Алексея Ухтомского был не просто собранием бумаг — это была карта его жизни, его одержимости, его войны.

Сегодня она взялась за четырнадцатую коробку. Последнюю. Ту, что стояла в самом углу, присыпанная толстым слоем пыли, будто её специально не трогали много лет.

Анна подтащила коробку к свету. На боку была надпись: «1942–1943. Академия. Особое». Сверху кто-то приписал ещё несколько слов, но чернила выцвели, и она едва могла разобрать буквы: казалось, там было что-то вроде «не трогать» или «для служебного пользования». Анна провела пальцем по картону, чувствуя, как пыль оседает на коже, липнет к влажным от утреннего чая пальцам.

Коробка была тяжёлой. Она поставила её на колени, отогнула клапаны — они были проклеены, и клей засох, превратившись в твёрдую жёлтую корку. Пришлось отрывать их с усилием, и когда она наконец открыла коробку, ей в лицо ударил запах — смесь старой бумаги, плесени и ещё чего-то, что она не могла определить. Может быть, табака. Или пороха. Или просто времени.

Внутри лежали папки. Три или четыре, перевязанные бечёвкой. Анна развязала узел — бечёвка крошилась в руках, рассыпалась на отдельные нити. Она осторожно вытащила первую папку.

«Инвентаризация 1942. Зал Рафаэля».

Анна пролистала её. Длинные списки предметов, пронумерованных, с указанием размеров, состояния, условий хранения. Копии итальянских мастеров — Рафаэль, Тициан, Веронезе. Все они были эвакуированы или упакованы для эвакуации. Анна пробежала глазами по строчкам, но ничего необычного не заметила.

Вторая папка: «Переписка с Эрмитажем. Эвакуация». Здесь были письма, официальные бланки, отметки о получении и отправке грузов. Тоже ничего особенного.

Третья папка была тонкой, почти пустой. Всего несколько листов. На обложке — надпись, от которой у Анны замерло сердце.

«Картон Корреджо. 1943».

Она замерла, держа папку в руках. Корреджо. Она слышала это имя раньше — в университете, на лекциях по истории искусства, в разговорах с Максимом Строгановым. Антонио Аллегри да Корреджо, великий итальянский живописец эпохи Возрождения, который умер в нищете, оставив после себя немного работ, но каждая из них считалась шедевром. Одна из них — «Обручение святой Екатерины» — хранилась в Академии художеств до войны. Потом, в

блокадные годы, она исчезла. Одни говорили, что её вывезли немцы, другие — что она сгорела при бомбардировке, третьи — что её спрятал кто-то из хранителей.

Анна открыла папку. Её руки чуть дрожали.

Первый лист был копией протокола осмотра места происшествия. Официальный документ, отпечатанный на машинке, с печатью Смольного, с подписью Алексея внизу. Дата: 16 июня 1943 года. Анна пробежала глазами по строчкам:

«Акт осмотра. Зал Рафаэля (Академия художеств, Ленинград). В результате авианалёта немецкой авиации в 03:15 произведено прямое попадание авиабомбы в центральную часть зала. Пожар. Уничтожены следующие предметы: копия "Мадонны с щеглёнком" (Рафаэль), копия "Венеры Урбинской" (Тициан), три неизвестных этюда. В подвальном помещении, примыкающем к залу, обнаружен предмет, предположительно копия картона Корреджо. Оригинал не найден. Предмет изъят и передан на хранение. Подпись: Ухтомский А.Н.»

Анна перевернула лист. На обороте была приписка, сделанная от руки, тем же почерком:

«Копия. Внимание: копия выполнена с пугающей точностью. Отличие — пигменты. Использован кадмий жёлтый, который не применялся в XVI веке. Кто-то сделал копию в XIX веке. Оригинал подменён. Кто? Зачем? Расследование продолжается».

Второй лист был фотографией. Чёрно-белой, с неровными краями, зернистой, чуть размытой — видимо, снимали в спешке, при плохом освещении. Анна поднесла фотографию поближе к настольной лампе и взгляделась.

Картон. Тёмный, прямоугольный, в деревянной раме, которая почернела от времени. На нём можно было разглядеть фигуры — святая Екатерина, младенец Христос, какие-то второстепенные персонажи. Краски на снимке казались почти чёрными, но Анна знала, что оригинал был написан тёплыми, глубокими тонами, с мягкой светотенью, которая делала фигуры почти осязаемыми.

Она перевернула фотографию. На обороте — знакомый почерк Алексея, размашистый, с сильным нажимом, будто он вдавливал слова в бумагу:

«Серебряков — жив. Без памяти. Расследование продолжается. 17.06.1943».

Анна провела пальцем по буквам. Серебряков. Глеб Яковлевич Серебряков — хранитель Академии, тот самый, о котором она слышала от Максима. Он исчез во время блокады, а потом его нашли у Тучкова моста, без памяти, без документов, без пальто. И он повторял одно слово: «Кадмий».

Она положила фотографию на стол и взяла третий лист. Это была записка, написанная на обрывке бумаги — не официальный документ, а личная заметка, возможно, сделанная наспех, между дел. Анна прочитала её вслух, шёпотом, будто боялась разбудить кого-то:

«Серебряков найден у Тучкова моста. 05:30. В бреду повторял "кадмий". Врачи говорят — амнезия. Зрачки расширены. Взял кровь на анализ. Лаборатория подтвердила: скополамин. Кто-то стёр ему память. Картон подменили. Копия идеальна — использован кадмий жёлтый, пигмент XIX века. Оригинал исчез. Нужно найти его. След ведёт к Брюллову. Спросить у Зимина. 18.06.1943».

Анна откинулась на спинку стула и закрыла глаза. Скополамин. Она знала это слово — Максим рассказывал ей о ядах, которыми пользовались спецслужбы для допросов. Вещество, которое расширяет зрачки, стирает кратковременную память, превращает человека в живую куклу, которая отвечает на вопросы, но не помнит, что говорила. Если Серебрякову ввели скополамин, значит, кто-то хотел, чтобы он забыл. Забыл всё. Где оригинал картона, кто его подменил, кто сделал копию. Всё, что он знал.

Но он всё равно говорил о кадмии. Кадмий жёлтый. Пигмент, который использовал Брюллов. Пигмент, который выдал подделку.

Анна открыла глаза и снова взяла фотографию. Она поднесла её к лампе, наклонила под разными углами, вглядываясь в детали. На снимке были видны края картона, рама, тени. И

вдруг она заметила кое-что — в нижнем правом углу, там, где рама чуть отходила от основы, виднелась тонкая линия. Почти незаметная, как трещина, но она была слишком ровной для трещины.

Анна встала, подошла к шкафу, где лежала старая лупа деда. Она взяла её, вернулась к столу и приложила стекло к фотографии. Линия стала чётче. Это был шов. Кто-то вскрывал раму — аккуратно, почти хирургически, — а потом заделывал её обратно. И под рамой, внутри картона, было пустое пространство. Там что-то лежало. Или когда-то лежало.

— Что там внутри? — прошептала Анна.

Она сняла трубку, набрала номер. Максим Строганов ответил после второго гудка. Голос его был сонным — видимо, он работал допоздна и только что встал.

— Анна? — спросил он, зевая. — Ты всегда звонишь в неподходящее время. Вчера был ночью, сегодня утром...

— Я нашла кое-что, — перебила Анна. Она не могла ждать, не могла откладывать. — В архиве Алексея. Папка. Дело о картоне Корреджо.

Максим замолчал. Тишина длилась несколько секунд, и Анна слышала, как он дышит в трубку.

— Картон Корреджо, — повторил он наконец, и голос его стал серьёзным, без всякой сонливости. — Это та самая итальянская коллекция Академии. О ней ходит много слухов. Говорят, оригинал исчез во время блокады, и никто не знает, где он. Одни говорят, что немцы вывезли его, другие — что он сгорел. Третьи... третьи говорят, что он был подделкой. Что оригинал давно куда-то исчез.

— Он не исчез, — сказала Анна. — Его подменили. Алексей нашёл копию в подвале Академии в 1943 году. Копию, сделанную с пугающей точностью. Единственное отличие — пигмент. Кадмий жёлтый.

Максим присвистнул.

— Кадмий жёлтый, — повторил он. — Пигмент, который начали использовать только в начале XIX века. Значит, копия была сделана не раньше 1820-х годов. Кто-то подменил оригинал сто лет назад. Или даже больше.

— У меня есть фотография, — сказала Анна. — И записи Алексея. Он писал, что расследование продолжается. Он взял кровь Серебрякова на анализ и нашёл скополамин. Кто-то стёр ему память.

— Скополамин, — тихо повторил Максим. — Значит, это не просто кража. Это чей-то план. Кто-то хотел, чтобы Серебряков замолчал навсегда.

— Я смотрю на фотографию, — сказала Анна, прижимая трубку плечом к уху. — В углу картона есть шов. Как будто кто-то вскрыл раму и зашил обратно. Там что-то спрятано. Что-то, что должно было остаться тайной.

— Брюллов, — сказал Максим. — Алексей упоминает Брюллова в записях. Если кто-то и мог спрятать что-то в картоне, то только он. Или Жуковский.

Анна затаила дыхание. Жуковский. Василий Андреевич Жуковский — поэт, наставник царской семьи, человек, который был связан с декабристами, с Брюлловым, с Тургеневым. Если он был причастен к этому делу, значит, оно уходило корнями в XIX век. В эпоху, когда история ещё не была написана, когда её только создавали.

— Мне нужно приехать к тебе, — сказала Анна. — Сегодня. Я покажу тебе документы. Мы должны понять, что это за цепь, о которой писал Алексей.

— Приезжай, — ответил Максим. — Я в архиве до шести. У нас есть материалы по Корреджо. Письма, инвентаризация. Может быть, что-то найдём.

Анна положила трубку. Она ещё раз посмотрела на фотографию, на тонкую линию в углу, и прошептала:

— Что там внутри?

Она убрала бумаги в папку, завязала бечёвку, надела пальто. За окном моросил мелкий дождь, небо было серым, как бумага, которую она держала в руках. Она сунула папку в сумку, перекинула ремень через плечо и вышла из квартиры.

Выходя, она остановилась на мгновение и оглянулась. Коробки на полу, пыль в воздухе, свет лампы, падающий на старые вещи. И где-то в этой пыли, в этих бумагах, её дед оставил ей не просто наследство. Он оставил ей загадку. Цепь, которую нужно было собрать, чтобы узнать правду.

Она закрыла дверь и пошла к лестнице. Ей нужно было в архив. И к Максиму. И к ответам, которые ждали её уже больше семидесяти лет.

ГЛАВА 3. «Брюллов и Жуковский»

Время: 15 февраля 1840 года, вечер

Место: Санкт-Петербург, Академия художеств, мастерская Брюллова

Флэшбек | Карл Брюллов

В мастерской пахло маслом, скипидаром и остывающим воском. Карл Павлович Брюллов стоял у мольберта, чуть отклонившись назад, и щурил левый глаз — правый был закрыт, как он делал всегда, когда оценивал свет. На холсте перед ним был портрет, но он писал его уже третий месяц и всё ещё был недоволен. Моделью служила молодая графиня, и Брюллов не мог уловить главное — ту воздушность, которая отличала его лучшие работы. Графиня была красива, но холодна, и он никак не мог согреть её на холсте.

За окном валил снег. Петербург февральский был серым, тяжёлым, с низким небом, которое давило на город. В мастерской горели свечи — их было шесть, расставленных на столах и подоконниках, и их свет дробился в стеклянных банках с раствором скипидара, создавая тёплые оранжевые блики на стенах. Брюллов любил этот свет. Он был искусственным, но живым — он придавал всему в комнате мягкость и глубину.

Он мазнул кистью по палитре, смешивая охру с белилами. Потом остановился. Прислушался.

В коридоре были шаги. Тяжёлые, уверенные, с лёгкой хромотой — Брюллов знал эту походку. Он отложил кисть и повернулся к двери.

Дверь открылась без стука. На пороге стоял Василий Андреевич Жуковский. Он был в тёмном сюртуке, с высоким жабо, которое выглядело немного помятым, и с глазами, которые выдавали его состояние лучше любых слов. Жуковский был взволнован. Он пытался скрыть это, но Брюллов видел его много лет и умел читать в нём всё, что он прятал.

— Василий Андреевич, — сказал Брюллов, не оборачиваясь, — вы не похожи на человека, который пришёл позировать.

Жуковский закрыл за собой дверь, щёлкнул замком. Шагнул в комнату, снял шляпу, бросил её на стул.

— Я не позировать, Карл, — сказал он. Голос его был низким, чуть хриловатым — он не спал уже вторую ночь, Брюллов знал это по тени под глазами. — Я пришёл по другому делу.

Брюллов наконец повернулся к нему. Он был ниже Жуковского, шире в плечах, с руками, которые никогда не лежали спокойно — он постоянно перебирал кисти, тряпки, куски угля. Он смотрел на Жуковского, и в его взгляде было спокойствие, которое приходило с опытом.

— Слушаю, — сказал он.

Жуковский подошёл к столу, на котором лежали бумаги и несколько набросков. Он вытащил из внутреннего кармана сюртука конверт — плотный, из дорогой бумаги, с сургучной печатью. Печать была красной, с неразборчивым вензелем.

— Пришло сегодня утром, — сказал Жуковский. — Из Лондона.

Брюллов поднял бровь.

— От Тургенева?

— Да. — Жуковский протянул конверт. — Читай.

Брюллов взял конверт. Он взвесил его на ладони — письмо было тяжёлым, два листа, не меньше. Он сломал печать, развернул бумагу. Почерк был мелким, аккуратным, с лёгким наклоном вправо — почерк человека, который привык писать много и быстро.

Он начал читать.

«Дорогой Василий Андреевич, я пишу вам из Лондона, где осень наступила раньше, чем в Петербурге. Листья здесь падают в сентябре, и это напоминает мне о нашей родине, хотя я

не видел её уже пятнадцать лет. Я пишу вам не как другу, хотя вы и есть мой друг, но как человеку, который может понять важность того, что я скажу.

Я знаю о "цепи". Вы можете удивиться, но я знаю о ней больше, чем вы думаете. Это не метафора, не поэтический образ. Это система артефактов, созданная нашими предшественниками для сохранения правды. Каждое звено — это предмет, документ, письмо, который хранит часть общей истории. История, которую не должны написать победители или проигравшие. История, которая должна быть сохранена для будущих поколений.

Я не знаю всех звеньев. Но я знаю, что одно из них находится в Петербурге, в Академии, в картоне Корреджо. Я не знаю точно, что в нём спрятано, но я знаю, что это важно. Это может изменить то, как будет написана история.

Я прошу вас, Василий Андреевич: найдите надёжное место. Спрячьте это там, где никто не сможет найти. Оно не для нас. Оно для тех, кто будет после нас.

Ваш друг, Н. Тургенев».

Брюллов прочитал письмо дважды. Потом ещё раз. Он положил его на стол и посмотрел на Жуковского.

— Что это за цепь? — спросил он.

— Я не знаю, — ответил Жуковский. — Тургенев не пишет подробностей. Или не хочет писать. Он боится, что письмо может перехватить.

— Кто?

— Кто угодно. — Жуковский подошёл к окну, посмотрел на снег, падающий за стеклом. — Третье отделение. Иностранные агенты. Даже наши собственные друзья. Мы живём в такое время, когда каждый может быть врагом.

Брюллов взял письмо в руки, поднёс его к свече. Бумага была плотной, с водяными знаками — дорогой лондонский лист. Он повертел его в пальцах, разглядывая края.

— И ты веришь этому? — спросил он.

— Я верю Тургеневу, — ответил Жуковский. — Я знаю его двадцать лет. Он не стал бы писать такое просто так. Он рисковал, отправляя это письмо.

Брюллов кивнул. Он тоже знал Тургенева — не так близко, как Жуковский, но достаточно, чтобы понимать, что этот человек не был склонен к пустым фантазиям.

— И что ты предлагаешь? — спросил Брюллов.

Жуковский повернулся к нему. В его глазах горел тот самый огонь, который Брюллов видел у него, когда он читал стихи или говорил о декабристах.

— Картон Корреджо, — сказал он. — Тот, что в подвале Академии. Мы можем спрятать письмо внутри него.

Брюллов усмехнулся.

— В картоне? Ты хочешь вшить письмо в картон?

— Почему нет? — ответил Жуковский. — Картон большой, толстый. Рама широкая. Если сделать аккуратный разрез по краю, вложить письмо и зашить обратно, никто не заметит. Даже если кто-то возьмёт картон в руки, он не увидит шва. Только если будет знать, где искать.

Брюллов долго молчал. Он смотрел на письмо, на свечи, на тени, которые плясали по стенам. Потом перевёл взгляд на мольберт, на портрет графини, который он писал так долго и безуспешно.

— Это опасно, — сказал он наконец. — Если кто-то узнает, что мы спрятали это, нас могут сослать в Сибирь. Или хуже.

— Я знаю, — ответил Жуковский. — Но я не могу оставить это просто так. Тургенев доверил мне. Я должен сохранить это.

Брюллов снова посмотрел на письмо. Он провёл пальцем по бумаге, по словам Тургенева. «Цепь». «Система артефактов». «Сохранение правды». Он не знал, что это означало, но он

чувствовал — в этом было что-то важное. Что-то, что переживёт их всех. Что-то, что будет ждать в темноте долгие годы.

— Хорошо, — сказал он. — Я сделаю это.

Он подошёл к шкафу в углу мастерской, где лежали разные работы — наброски, этюды, начатые, но не законченные портреты. Он достал картон Корреджо. Он принёс его в Академию несколько лет назад, когда работал над копией для императорской коллекции. Картон был большим — почти в рост человека, в тяжёлой дубовой раме, с потрескавшимся лаком на поверхности.

Брюллов положил картон на стол. Он взял тонкий нож, который обычно использовал для резки холста, и аккуратно поддел край рамы. Дерево поддалось с сухим треском. Он отделил раму от основы, обнажив край картона.

— Подай мне письмо, — сказал он Жуковскому.

Жуковский протянул конверт. Брюллов взял письмо, сложил его втрое, аккуратно, чтобы не повредить бумагу. Потом вложил его в узкое пространство между картоном и рамой — туда, где никто бы не додумался искать.

— Теперь зашьём, — сказал он.

Он взял иглу с длинной нитью — той самой, которой обычно зашивали холст, — и начал аккуратно соединять раму с картоном. Стежки были маленькими, почти незаметными. Брюллов работал медленно, сосредоточенно, как работал всегда. Он не мог допустить ошибку.

Жуковский стоял рядом, не дыша. Он смотрел, как руки Брюллова двигаются, как игла входит в дерево, как нить натягивается, как рама становится на место.

— Если кто-то найдёт это, — сказал Брюллов, не отрываясь от работы, — он найдёт цепь. Он найдёт правду.

Жуковский молчал.

— Но они не должны найти всё сразу, — продолжил Брюллов. Он сделал последний стежок, завязал узел, откусил нить зубами. — Правда не должна быть лёгкой. Она должна быть заслуженной.

Он отступил на шаг и посмотрел на картон. Рама сидела плотно. Шов был почти незаметен — только если знать, где смотреть, можно было разглядеть тонкую линию.

— Готово, — сказал Брюллов.

Жуковский выдохнул. Он подошёл к картону, провёл пальцем по краю рамы, по тому месту, где только что был шов. Он ничего не почувствовал.

— Ты уверен, что никто не заметит?

— Уверен, — ответил Брюллов. — Я делал это раньше. Для других. Более секретных.

Он посмотрел на Жуковского. В его глазах была усталость, но была и решимость. Он знал, что делает. Он знал, что это было правильно.

— Теперь он должен ждать, — сказал Брюллов. — Ждать тех, кто будет искать.

Он убрал нож, нитки, обрезки бумаги. Потом взял свечу и поднёс её к письму Тургенева — тому, что осталось на столе. Он поджёг край бумаги.

— Что ты делаешь? — спросил Жуковский.

— Никто не должен знать, что мы сделали, — ответил Брюллов. — Если нас найдут, у них не должно быть доказательств.

Он держал письмо, пока оно не прогорело почти до самых пальцев. Потом он бросил его в камин, где оно вспыхнуло ярким пламенем и погасло.

Жуковский смотрел на пепел.

— Мы только что изменили историю, — сказал он тихо. — Мы её спасли.

Брюллов кивнул. Он подошёл к столу, взял палитру, окунул кисть в масло. Он не хотел думать о том, что сделал. Он хотел работать, писать, забыться в красках и линиях.

— Иди, — сказал он Жуковскому. — Иди домой, Василий Андреевич. Ты выглядишь как человек, который не спал неделю.

Жуковский усмехнулся. Он надел шляпу, взял трость, направился к двери. На пороге он обернулся.

— Карл, — сказал он, — если что-то случится... если нас разлучат... спасибо тебе. За то, что сделал.

Брюллов не обернулся. Он стоял у мольберта, глядя на портрет графини, и в его руке была кисть, и она двигалась по холсту, создавая новые тени, новые линии.

— Иди, — повторил он. — Всё будет хорошо.

Но он не верил в это. Он знал, что ничего не будет хорошо. Он знал, что они только что начали цепь, которая будет тянуться через десятилетия, через войны, через смерти. И он не увидит её конца.

Он услышал, как дверь за Жуковским закрылась. Потом шаги в коридоре затихли.

Брюллов остался один в мастерской, среди свечей и теней, с картоном Корреджо, который теперь хранил в себе тайну. Он подошёл к нему, провёл пальцем по раме, по невидимому шву.

— Прощай, мой брат, — тихо сказал он. — Мы встретимся только там, где все цепи разорваны.

Он задул свечи. В мастерской стало темно.

ГЛАВА 4. «Дом на Зелениной»

Время: 16 июня 1943 года, 14:00

Место: Ленинград, Петроградская сторона, Большая Зеленина улица

Блокада | Алексей Ухтомский

Алексей шёл по Большой Зелениной медленно, вглядываясь в каждый дом, в каждую трещину на стенах, в каждое окно, заколоченное досками или зияющее пустотой. Улица была пуста. Не то чтобы в Ленинграде было много людей на улицах — война и блокада сделали своё дело, — но здесь, на Петроградской стороне, было особенно тихо. Слишком тихо. Даже ветер, казалось, обходил эти дома стороной, оставляя их в мёртвом, неестественном безмолвии.

Он знал историю этой улицы. Когда-то давно, ещё при Петре, здесь селили мастеровых и солдат. Недалеко стояли склады с порохом, и по этой дороге везли бочки с зельем — так называли порох в те времена. Потом и улицу назвали Зелёной. Прямо, грубо, без прикрас. А потом, спустя годы, кто-то решил, что звучит слишком резко, слишком военно, и переделали в Зеленину. Чтобы звучало мягче. Чтобы никто не вспоминал, что здесь когда-то возили взрывчатку и делали оружие.

Алексей усмехнулся про себя. Даже в названиях города пряталась история, которую переписывали, делали удобной, безопасной. Как будто можно было переименовать прошлое, сделать его чистым. Он подумал о картоне Корреджо, о письме Тургенева, о цепи — о том, как кто-то пытался сохранить правду, а кто-то пытался её уничтожить. Война была везде. И не только та, что гремела за окнами.

Он остановился у дома номер 32. Здание стояло на углу, серое, облупленное, с выбитыми окнами на первом этаже и заколоченными досками на втором. Фасад когда-то был выкрашен в жёлтый цвет — любимый цвет петербургских домов, — но теперь краска облупилась, обнажив серый, шершавый кирпич. Над подъездом висела табличка с номером, почти стёртая временем, и чуть ниже — следы от снаряда: глубокая воронка, замазанная цементом, но всё ещё заметная.

Когда-то это был доходный дом, потом коммуналка, потом — просто жильё для тех, кто не мог уехать. Сейчас он выглядел мёртвым. Но Алексей знал, что мёртвых домов не бывает. В каждом есть жизнь, даже если она спрятана глубоко внутри. В каждом есть голоса, которые ждут, чтобы их услышали.

Он обошёл здание. Парадный вход был запёрт — висячий замок, ржавый, с засохшей смазкой, которая превратилась в твёрдую корку. Ключ, наверное, потеряли ещё в сорок первом, когда здание печатавали. Алексей потянул замок — он не поддался. Тогда он двинулся дальше, к чёрному ходу.

Дверь чёрного хода держалась на одной петле. Вторая была сломана, и дверь висела криво, приоткрытая ровно настолько, чтобы в неё можно было протиснуться. Алексей проскользнул внутрь, оказался в тёмном коридоре, где пахло сыростью, плесенью и чем-то сладковатым — может быть, старыми обоями, а может быть, гниющими досками. Ветер гулял по коридору, и где-то в глубине здания хлопала ставня — мерный, ритмичный звук, который казался почти живым.

Лестница была крутой, с прогнившими ступеньками. Некоторые из них провалились, обнажив тёмные дыры, из которых тянуло холодом и затхлостью. Алексей поднимался медленно, стараясь ступать по краям ступеней, где дерево ещё сохраняло прочность, но каждый шаг всё равно отдавался гулким эхом. Где-то на втором этаже скрипнула половица — он замер, прислушался. Тишина. Только ветер за окнами.

Квартира Серебрякова находилась на третьем этаже, в конце длинного коридора. Дверь была заколочена — доски, прибитые крест-накрест, с табличкой, на которой было написано от

руки: «Опечатано. Вход воспрещён. Управление домов». Подпись, сделанная красным карандашом, уже почти стёрлась.

Алексей достал нож. Он поддел доски одну за другой, отрывая их от косяка. Гвозди были старыми, ржавыми, и поддавались с трудом — пришлось приложить усилие, чтобы вытащить их из прогнившего дерева. На досках остались тёмные пятна — то ли от влаги, то ли от чего-то другого. Он не хотел думать о том, что это могло быть.

Через несколько минут дверь была свободна. Он толкнул её, и она открылась с протяжным, почти человеческим скрипом — будто жаловалась на то, что её потревожили.

Алексей шагнул внутрь.

В квартире было темно. Свет с улицы почти не проникал сквозь заколоченные окна, и только тонкие лучи пробивались через щели в досках, создавая на полу полосы пыльного света. Он зажгёт спичку — пламя на мгновение осветило комнату, и он увидел её.

Это была маленькая комната с высоким потолком. Обои когда-то были зелёными, но теперь стали грязно-серыми, с тёмными пятнами влаги, которые расползались по стенам, как карты неизвестных материков. В углу стоял старый диван с продавленным сиденьем — его пружины вылезли наружу, обивка была порвана в нескольких местах. На стене висела пустая рамка от фотографии, а на полу, у стены, валялись книги.

Много книг. Повсюду.

Алексей зажгёт вторую спичку и подошёл ближе. Книги были старыми, в твёрдых переплётках, с пожелтевшими страницами. Некоторые были раскрыты, некоторые лежали стопками, некоторые были разбросаны по полу, будто кто-то искал что-то в спешке, перебирая их одну за другой, не успевая ставить на место. Алексей нагнулся и поднял одну из них — стихи Жуковского, издание 1820-х годов. Корешок был потёртым, страницы пожелтели, но текст был хорошо виден. На внутренней стороне обложки была надпись, сделанная чернилами, которые выцвели, но всё ещё были разборчивыми: «Г.С.»

Глеб Серебряков. Его книга.

Алексей перевернул книгу в руках. На обложке, под слоем пыли, он заметил что-то странное — край был чуть неровным, будто его обрезали ножом. Он провёл пальцем по краю. Чувствовалась едва заметная шероховатость, совсем не похожая на ровный срез типографской бумаги.

Он открыл книгу. На первых страницах всё было нормально — текст, типографские буквы, стихи, которые он когда-то читал в детстве. Но на середине, между страницами, на месте, где обычно ничего не бывает, он увидел прямоугольник. Маленький, аккуратный, почти невидимый, если не знать, где искать.

Тайник.

Алексей провёл пальцем по краям. Они были ровными, словно вырезаны скальпелем — аккуратно, тщательно, без единой зазубрины. Кто-то сделал это много лет назад, и сделал с большой осторожностью. Внутри тайника лежала записка, сложенная вчетверо, из плотной бумаги, с неровными краями.

Он вытащил её. Развернул. Буквы были наклонными, торопливыми, но разборчивыми — такими, как пишут, когда времени мало, а сказать нужно много.

«Кадмий жёлтый — ключ к Брюллову».

Алексей замер, глядя на эти слова. Они стучали в его голове, отзываясь эхом в каждом уголке сознания. Кадмий жёлтый. Снова. Это слово преследовало его — в кабинете Серебрякова, на осколке стекла, в госпитале, в бреду профессора, на стене подвала Академии. И теперь здесь, в книге Жуковского, в тайнике, который кто-то сделал много лет назад.

Он сжал записку в руке, чувствуя, как бумага хрустит под пальцами. Тонкая, старая, почти прозрачная на свет. Он поднёс её к спичке. На обратной стороне ничего не было. Только эти слова. Но они значили больше, чем любое другое сообщение.

«Кадмий жёлтый — ключ к Брюллову».

Алексей положил записку во внутренний карман, рядом с пробиркой с кровью Серебрякова. Он осмотрел комнату в последний раз — больше ничего необычного. Книги, пыль, старые вещи, оставленные на произвол судьбы. Но что-то было не так. Что-то, что он не мог понять.

И тут он услышал шаги.

Они были на лестнице. Сначала тихие, почти неразличимые — Алексей подумал, что ему показалось, что это просто ветер в коридоре, или скрип старого дома, который осел на фундаменте. Но потом шаги стали громче. Кто-то поднимался по лестнице. Не спеша. Уверенно. Словно знал, куда идёт.

Алексей прислушался. Шаги приближались. Он слышал, как кто-то ступает на прогнившие ступеньки, как дерево скрипит под весом. Один шаг. Второй. Третий. Человек поднимался медленно, но настойчиво, и с каждым шагом он был всё ближе.

Алексей оглянулся — в комнате не было места, где можно было спрятаться. Только диван, да шкаф у стены, да старая ширма в углу, которая была такой ветхой, что вряд ли могла скрыть человека. Он метнулся за дверь, вжался в стену, затаил дыхание. Сердце билось так громко, что ему казалось, будто его слышно во всём доме.

Шаги стихли у двери. Кто-то стоял за ней — прямо за тем местом, где он только что стоял. Алексей не дышал. Он слышал, как скрипят половицы в коридоре — кто-то сделал шаг вперёд, потом ещё один. Кто-то был совсем близко, отделённый от него только тонкой дверью.

Дверь открылась. Медленно, с тем же протяжным скрипом, с каким открывалась она только что.

Алексей замер. Он не видел, кто вошёл — только слышал шаги, которые ступили на паркет. Кто-то был в комнате. Кто-то стоял в темноте, в двух шагах от него.

Он сжимал в кармане записку, чувствуя, как бумага мнётся под пальцами. Он не знал, кто перед ним — друг или враг. Может быть, это был кто-то из Смольного, кто следил за ним. Может быть, немецкий агент. Может быть, просто жилец, который вернулся в свою квартиру.

Но он знал одно: он должен был действовать. Медлить было нельзя.

Он сделал глубокий вдох. Он ждал. Он готовился к тому, что произойдёт в следующую секунду.

ГЛАВА 5. «П»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.